РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ

хлебі.. Любовь. Время. Па-

мять...
— Кто-то так уже писал. Для чего ж ты пишешь,

кто-то где-то, там ли, здесь ли

точно так уже писал! Кто-то так уже любил.
Так зачем тебе все это, если кто-то уже где-то так же в точности любил!..

Согласитесь, все-таки убе-дителен этот трезвый голос. Но пусть уж остаются тебе и эта мука, и это TOMленье, и «это странное стремленье быть всегда са-«это странное мим собой». Да, разумеется, «было все уже на свете», но ничего не меняет это прискорбное обстоятельство:

Но позвольте мне любить, а писать еще тем паче, так — а все-таки иначе,

так — а все же не совсем... Новая книга Юрия Леви-танского*, из которой я привел эту цитату, книга с при-чудливым названием «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом», как и всегда у этого поэта, — о вечном (где так легко «изобрести велосипед» и так трудно «выдумать порох»). О времени. О памяти. О любви. Как всегда. И все же «не совсем», «иначе», хотя чуткая напряженность любой строки узнаваема безусловно и безошибочно.

Все-таки иначе...

«Все больше люблю pacсветы. Все меньше люблю закаты», — признается Левитанский. Что поделать, идет (несется, уносится)) наше «время пик», время, которого так не хватает во все убыстряющейся спринтерской гонке — а электронные секундомеры уже отсчитывают и сотые, и тысячные доли секунды наших бесполезных рекордов. Как избавиться от этого «мерного тиктаканья часов», подгоняющих настолько, что даже толком не успеваешь сообразить - куда?..

Рецепт прост. И одновременно сложен немыслимо:

Ах, эти темы, вечные, как «Влюбленные часов не наблюдают», — подсказывает Фауст герою стихотворения древнюю, как мир, истину. Надо просто любить — жен-щину, жиэнь, свое дело («так любить, как я умею, так пи-сать, как я могу»). И тогда уже не надо будет остана ливать ни часов, ни самых прекрасных мгновений. НО чего, что «мы живем вые»...

В одном из вошедших книгу стихотворений Левитанский с беспощадной точностью сравнивает «бездну памяти» с «расширяющейся Вселенной». Эта Вселенная то обжигает нас, читателей, жаром своих июльских солнц, то обдает космическим холодом — скажем, холодом заснеженных полей 1941 года. И даже садясь за пишущую машинку, «мою спутницу, веселую и печальную, портативную, изготовленную в Германии», поэт веско роняет: «Что естественно отразилось в ее названии, для меня значительном особо «Рейнметалл»...».

И пусть «странное и могучее свойство памяти, порожденное зрелым опытом, а не робостью», подменяет со временем взрывоопасные воспоминания на идиллические и воздушные: лес, побитый осколками, — на то, как сладки были в нем тем же страшным летом ягоды; бинт в крови и коечку госпитальную — на то, как склонялась над ней медсестра — глазищи синие... Все равно «от первого же движения не-осторожного» тихое, тишайшее небо памяти разлетается вдребезги на те воспоминания, обожженные и

И именно эта осторождвижения, ность каждого каким Юрий Левитанский прикасается к памяти, ко всей своей уже некороткей жизни, прикасается, сомневаясь и сожалея, но ничего не перечеркивая, именно она мне особенно близка и дорога в новой, как, впрочем, и в прежних его книгах.

* Москва, «Советский писатель», 1981 г.

п. гутионтов.